

## ОЛЕГ БОРИСОВИЧ СОЛОВЬЁВ



Родился в 1969 г. в п. Ванино Хабаровского края.  
В 1986 г. окончил ФМШ при НГУ.  
В 1986–1992 гг. учился на геолого-геофизическом факультете НГУ.  
1992–1995 гг. – аспирантура при кафедре философии НГУ.  
В 2000 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Механизмы социальной памяти в развитии понятия естественного объекта».  
2004–2007 гг. – докторантura при кафедре философии НГУ.  
С 2002 г. работает доцентом кафедры философии Новосибирского государственного университета экономики и управления.  
Автор монографий:  
«Естественный объект в научном исследовании» (в соавторстве с С.С. Розовой, 2000 г.), «Понимание и культура» (2005 г.), «Понимание и мышление» (2007 г.).  
E-mail: obssib@mail.ru

### «ЖИЗНЬ В ЛЕСУ», ИЛИ ХАЙДЕГГЕРИАНСКАЯ ОТРЕШЁННОСТЬ Социальные эстафеты как смыслопорождающие структуры ценностного мира

Духовное бодрствование, когда для человека действует только один закон – закон радостного и плодотворного творческого усилия (см. [9, с. 35–57]), обнаруживает нашу повседневную человеческую несостоятельность, своего рода духовную анемию – неспособность проникнуться смыслом, множественностью смыслов культуры, и, как следствие, наше коллективное пребывание в мире иллюзий, в мире газетных столбцов, где происшествия последних суток выдаются за события настоящей жизни (см. также [8, с. 5–10]).

Именно бодрствование, чудодейственное пробуждение, вырывает человеческий дух из пут повседневности, псевдонатурального мира вещей, в котором наша деятельность во многом носит характер слепого копирования образца, подчиняется технике обыденной игры. Чудодейственным пробуждение становится не только для самого человека, ощущающего себя будто вырванным из плена неких «паразитов сознания»<sup>1</sup>, но зачастую и для людей, окружающих его, для всего общества. И это неудивительно: суть пробуждения и духовного бодрствования состоит прежде всего и всегда в нравственном озарении. Таково знаменитое пробуждение Якова Бёме. В русской литературе, не говоря уже о народном герое Илье Муромце, – это Константин Левин в заключительной части «Анны Карениной», Родион Раскольников в эпилоге «Преступления и наказания».

Пробуждённый таким образом, т.е. нежданно-негаданно для самого себя и в то же время давно ожидаемым импульсом, ради осуществления которого понадобилось

<sup>1</sup> Вслед за О. Хаксли и идеей «коллективного бессознательного» К.Г. Юнга английский писатель-экзистенциалист Колин Уилсон вводит представление о человеческом сознании как о бесконечности, простирающейся внутри человека в виде самостоятельного мира, подобного внешнему, мира со своими джунглями, пустынями и океанами, населённого самыми разнообразными неведомыми существами, среди которых есть и паразиты [12, с. 80].

немало усилий, работы над собой<sup>2</sup>, Артур Рембо восклицает: «Дух ведёт к Богу! Чудовищное невезение!». Невезение, потому что все мы, как это видит озарённый Рембо, спим, потому что тихоходна наша наука и не поспеть ей в тот лучший мир сказочных городов, мир смыслов-событий, где только и случается наше призвание быть живым, то есть деятельностным, организмом. Поэт говорит о *метафизическом* путешествии к неведомым континентам и неизвестным мирам. Чтобы пуститься в него, прежде следует научиться читать книги, а не газеты:

«Неужели мне суждено только слышать о Платоне и не прочесть его книги? – задавался вопросом классик американской литературы Генри Дэвид Торо. – Словно Платон – мой земляк, а я его никогда не видел, мой ближайший сосед, а я ни разу не слышал его речей и не вдумывался в их мудрость. Как это получается? Его диалоги, содержащие всё, что было в нём бессмертного, лежат на полке, а я их не читал. Мы живём низменной жизнью, мы необразованы и безграмотны; и в этом отношении я, признаюсь, не делаю большого различия между безграмотностью тех моих земляков, которые не знают азбуки, и безграмотностью тех, кто выучился читать лишь для того, чтобы читать книги для детей и слабоумных. Мы должны стремиться сравняться с достойными людьми древности, а для этого надо прежде всего узнать об их деяниях. Но мы – мелкая порода, и наши духовные взлёты ограничены столбцами ежедневных газет» [11, с. 129].

О разделении русского общества на людей книги и людей газеты писал перед самым началом Первой мировой войны Н.С. Гумилёв<sup>3</sup>. В середине XIX в. Г.Д. Торо характеризовал народонаселение Соединённых Штатов следующим образом: «Мы не отличаемся религиозностью, но мы нация политиков. Мы не очень-то чтим Библию и не читаем её, но мы чтим газету и читаем её. Это библия, которую мы читаем каждое утро и каждый вечер, стоя и сидя, в поездке и на ходу. Эту библию каждый носит в кармане, она лежит на каждом столе и прилавке, её неустанно распространяет почта и тысячи миссионеров. Это единственная книга, которую Америка издала и которая способна оказывать колоссальное влияние – хорошее или плохое» [10, с. 154].

Во второй половине прошлого века, как заметил М. Хайдеггер, к вещам, одурманивающим мышление, добавилась ещё и «иллюстрированная газета» – телевизор. Английский писатель К. Уилсон, чьи творческие задачи были устремлены к построению оптимистичной «версии» экзистенциализма (см. [15]), подобную

<sup>1</sup> Как испытывал сам Рембо:

«Дух мой, поостерегись! Буйством не спасёшься. – Трудись над собой! – Ах, какой же тихоходной кажется нам с тобой наука!

И тут я замечаю, что дух мой спит.

А ведь если бы, начиная с этого мига, он вечно бодрствовал, мы бы скоро обрели истину, которая, быть может, окружает нас вместе с сонмами рыдающих ангелов!.. Если бы он бодрствовал до этого мига, я не поддался бы тлетворным страстям в те незапамятные времена!.. А бодрствуя он вечно, я бы давно уже шмыг по океану премудрости!..

О чистоте, о невинности!

Миг пробуждения одарил меня кратким видением невинности! – Дух ведёт к Богу!

Чудовищное невезение!» [4, с. 339].

<sup>3</sup> «Уже давно русское общество разбилось на людей книги и людей газеты, не имевших между собой почти никаких точек соприкосновения. Первые жили в мире тысячелетних образов и идей, говорили мало, зная, какую ответственность приходится нести за каждое слово, проверяли свои чувства, боясь предать идею, любили, как Данте, умиралы, как Сократы, и, по мнению вторых, наверное, были похожи на барсуков... Вторые, юркие и хлопотливые, врезались в самую гущу современной жизни, читали вечерние газеты, говорили о любви со своим парикмахером, о бриллиантине со своей возлюбленной, пользовались только готовыми фразами или какими-то интимными словечками, слушая которые каждый непосвящённый испытывал определённое чувство неловкости» [2, с. 170–171].

ограниченность человеческого рода приписывал результатам воздействия паразитов сознания. О веке XIX-м, «железном» и «воистину жестоком», в точном определении А. Блока, он писал: «...внезапно мы вступаем в эпоху тьмы, когда даже гениальные люди больше не могут творить, как боги. Вместо этого они словно боятся в шупальцах какого-то невидимого спрута. Начинается век самоубийств. Это и есть, по существу, начало новейшей истории, эпохи неврозов и несбыившихся надежд» [12, с. 80].

«Паразиты сознания» – это образ, разоблачающий неспособность человека отделить себя от мира вещей, высвечивающий слабое развитие способности современного общества людей газеты рефлексировать, или понимать, различие между целеполагающей деятельностью и нерефлексивным действием по образцу, которое, будучи «закреплено» социальными эстафетами, превращается в стереотип поведения. Феноменально переживание, связанное «паразитами сознания», приводит человека к потере смысла жизни, к потере ощущения полноты бытия, а затем и к тому, что Колин Уилсон принимает за факт того, что «Новый человек потерял веру в жизнь, веру в знание. Современный человек согласен с Фаустом: в конечном счёте мы не можем знать ничего» [12, с. 81]. Мы впустили технические приспособления в свою жизнь и теперь уже они, а не мы, определяют наш образ мышления: мы в такой же степени, как и наши хитроумные вычислительные устройства, стали калькулировать, вместо того чтобы осмыслять.

Мы научились, как это в 1955-м году и предсказывал американский химик, лауреат Нобелевской премии Стэнли, «синтезировать, расщеплять и изменять по своему желанию субстанции жизни», но сами оказались не подготовленными к этому изменению мира: к примеру, вопросы биоэтики, наиболее остро и насущно вошедшие в нашу жизнь вместе с клонированием высших млекопитающих, не разрешены ни одним общественным институтом – ни научным, ни медицинским, ни правовым – пусть даже на страницах научно-фантастической литературы, а отданы на откуп законодателям, которые в свою очередь испытывают те же самые затруднения, что и все остальные, и поэтому предпринимают попытки эlimинировать научные достижения, затормозить неизбежный исторический ход.

Фундаментальное различие между калькулирующим мышлением и осмысляющим раздумьем Мартин Хайдеггер обусловливал тем, что первое направлено исключительно на планирование, исследование и налаживание производства в данных, конкретных, сиюминутных условиях: «Мы берём их в расчёт, исходя из определённой цели. Мы заранее рассчитываем на определённые результаты. Это рассчитывание является отличительной чертой мышления, которое планирует и исследует. Такое мышление будет калькуляцией даже тогда, когда оно не оперирует цифрами и не пользуется калькулятором или компьютером» [13, с. 104]. В то время как раздумье обнаруживает в человеке способность «подумать о смысле, царящем во всём, что есть» [13, с. 104].

Осмысление, преодолевая интенциональность сознания, позволяет индуцировать понимание и наиболее эффективно развивает в человеке способность к самообновлению. «Наша жизнь должна быть активной и всё время обновляться, чтобы походить на путешествие» [10, с. 180], – так полагал человеческое существование и прежде всего существование мира мышления Г.Д. Торо. Русский поэт серебряного века М.А. Волошин в своих философских блужданиях испытал то же самое:

*Пусть капля жизни в море канет –  
Нерастворимо в смерти «Я».  
Не соблазнится плоть моя,  
Личина трупа не обманет,*

*И не иссякнет бытиё  
Ни для меня, ни для другого,  
Я был, я есть, я буду снова!  
Предвечно странствие моё.*

И для Торо, и для Волошина жизнь всё время обновляется, меняет свой облик вплоть до воскресения в другом человеке, другой, на первый взгляд, жизни. Очевидно, что сам факт возникновения раздумья, бытия для другого (см. [9, с. 41]), предполагает активность прежде всего ума, а не ног или рук.

Необходимость такого мышления очевидна всякий раз, как только человек сталкивается с проблемой выбора, когда ему нужно совершить целенаправленный акт деятельности. Кроме причин исключительно личного плана, обусловлённых присущей каждому человеку системой ценностей, выбор становится проблемой и в силу причин надындивидуального, общезначимого характера. «Мне вовсе не обязательно быть Авраамом, и тем не менее на каждом шагу я вынужден совершать поступки, служащие примером для других, – воссоздаёт ситуацию выбора Ж.-П. Сартр. – Для каждого человека всё происходит так, как будто взоры всего человечества обращены к нему и будто все сообразуют свои действия с его поступками. и каждый человек должен себе сказать: действительно ли я имею право действовать так, чтобы человечество брало пример с моих поступков?» [7, с. 325–326].

Если же в какой-то точке на распутье человек совершает выбор бессознательно, «по образцу», не рефлексируя и не участвуя всей своей человеческой сущностью в решении возложенной им на себя задачи, мы имеем дело со слепым подражанием, или эстафетными структурами подражания (см. [5, с. 20]), которые, тем не менее, могут приносить на некотором этапе практический успех, но при этом всё поле образцов деятельности и поведения сворачивают до размеров якобы хорошо просчитанных схем. И в этом состоит ещё одна опасность проникновения калькулирующего мышления в самую суть, святая святых человеческого бытия – в его интеллектуальную и нравственную свободу. Отметим, что М. Хайдеггер полагал свободу как нечто предшествующее индивидуальному человеческому бытию: «Человек обладает свободой не как свойством, а как раз наоборот: свобода, экзистентное, раскрывающееся бытие наличного владеет человеком и притом изначально, так что исключительно она гарантирует человечеству соотнесённость с существом в целом как таковую, соотнесённость, которая обосновывает и характеризует историю. Только экзистентный человек историчен. «Природа» не имеет истории» [13, с. 18–19]. Калькуляция убивает свободного, а, значит, исторического человека, делает его частью природы, растворяет посреди того, что греки называли фути.

Чему ещё, кроме умения читать, предстоит научиться человеку, чтобы оторваться от калькуляции, выйти из самоподчинения технике, избавиться или хотя бы на какое-то время одолеть «паразитов сознания», почувствовать себя обновлённым? «Для осмысливающего мышления подчас необходимы высшие усилия, – считает М. Хайдеггер. – Оно требует более длительного упражнения. Для него нужна ещё более чуткая забота, чем для любого другого настоящего ремесла. А ещё оно должно уметь ждать, как ждёт крестьянин, взойдёт ли семя, даст ли урожай» [13, с. 107]. Самообновление может быть реализовано лишь в случае самоуглубления в мир сознания, длительного упражнения по сосредоточению внимания на самом себе с тем, чтобы где-то в своих глубинах ощутить самостоятельный мир – мир смыслов-событий, «святую реальность» Поля Клоделя, «живую реальность» Марселя Пруста. Иными словами, путём рефлексии, путём духовного усилия мы можем добиться собственной сосредоточенности не на материале, который распространяясь, захватывает социокультурная «волна» (куматоид), не на вещах, людях, сообществах,

газетных столбцах или других структурных частностях, а на самой «волне» – законе радостного и плодотворного усилия, который единственно определяет личность и волю поэта, философа или героя.

Бессознательное ожидание опасности, бдительность, которая не позволяет нам остаться наедине с миром сознания и не даёт нашему вниманию отвлечься от мира внешнего, К. Уилсон считал одной из самых коренных человеческих привычек. Ф. Бэкон называл такие привычки идолами рода, которые наряду с другими идолами осаждают умы людей. «Указание идолов весьма полезно, – писал он. – Учение об идолах представляет собой то же для истолкования природы, что и учение об опровержении софизмов – для общепринятой диалектики» [1, с. 18]. К. Уилсон не просто изобличает идолов, он объявляет войну паразитам сознания: «Стоит разумной расе узнать о существовании вампиров, как сражение будет уже наполовину выиграно. Стоит человеку обрести цель жизни и веру, как он станет почти непобедим» [12, с. 97]. Впрочем, его открытость для тайны, трубный зов на бой с вампирами, «мерзкими кровососами» (см. [8, с. 40], прозвучали почти четыре столетия спустя после того, как Ф. Бэкон вооружился против них в «Новом Органоне»:

«Идолы и ложные понятия, – настойчиво уверял английский философ и естествоиспытатель, – которые уже пленили человеческий разум и глубоко в нём укрепились, так владеют умом людей, что затрудняют вход истине, но, если даже вход ей будет дозволен и предоставлен, они снова преградят путь при самом обновлении наук и будут ему препятствовать, если только люди, предостережённые, не вооружатся против них, насколько возможно» [1, с. 18].

О существовании подобных идолов и ложных понятий в своё время предостерегал и Г.Д. Торо. Несмотря на то, что мир человека, с его точки зрения, отличают глубины несоизмеримо большие, чем мы можем наблюдать в природе, он так же, как и его предшественники и последователи, сгущая краски натуралистической палитры, наделял «паразитами» мир человеческого сознания:

«Как можно измерить глубину в том месте, где человек смотрится в воду и видит своё отражение? Из ручейка, у которого я остановился напиться воды, я выпил больше, чем хотел. Я утолил жажду и в то же время возбудил жажду более высокую. Я выпил воды не зря. У того ручья я словно проглотил водяную змею, которая живёт теперь в моих внутренностях. Я проглотил нечто важное. День мне кажется совсем другим, чем до того, как я наклонился выпить воды. О-о, этот глоток я надолго запомню. Я его сделал не напрасно: я проглотил наконечник стрелы. А вода эта течёт оттуда, где берут начало все источники.

Сколько же я проглотил икринок? Кто знает, что во мне теперь вылупится? В той воде, мне кажется, плавали семена мысли, которые сейчас набухают во мне. Человек, не готовый к тому, чтобы вся природа возродилась в нём вновь, не должен пить из рек и проточных вод, чтобы не вскормить чудовищ» [10, с. 168–169].

Так или иначе первое, что придётся предпринять любому из нас для овладения множеством смыслов современной нам эпохи и в целях осуществления собственного социокультурного выбора, сводится к тому, чтобы научиться читать в самом широком смысле этого слова. Это обозначает умение обращаться с философскими текстами или произведениями литературы и искусства таким образом, чтобы читая (в общем случае, постигая) ощутить закон тождества, воспроизвести смысл не где-то в прошлом, настоящем или будущем, но воспроизвести его как присутствующий *здесь и сейчас*, реализующийся через нас самих в том поле культурообразцов, в котором мы мыслим и действуем. Вот как описывает это ощущение Г.Д. Торо:

«Накапливая имущество для себя и потомков, основывая семью или государство и даже стремясь к славе, мы остаёмся смертными, но обращаясь к истине, мы

становимся бессмертными и можем не страшиться перемен и случайностей. Философ древнего Египта или Индии приподнял некогда уголок завесы, скрывавшей статую божества; эта завеса колышется и осталась приподнятой, и моему взору является то же чудо, что видел он, ибо я жил в нём, когда он дерзнул, а он сейчас живёт во мне и вновь созерцает то же дивное видение. Пыль веков не осела на этой завесе, время не отделило нас от того божественного откровения. Время подлинных свершений не относится ни к прошлому, ни к настоящему, ни к будущему» [11, с. 119].

Далее, решившись перейти от материала волны к самой волне, мы переходим от идолов рода, пещеры, площади, театра, от «паразитов сознания» к миру смыслов-событий, социальным эстафетам философствования. Мы вступаем в область отрешённости от мира вещей, становимся открыты для тайны и тем самым на деле разворачиваем осмысливающее мышление, рефлексивную объективацию смысла, – иными словами, позволяем миру вещей приблизиться к нам, но не подпускаем его к себе настолько, чтобы не суметь, когда надо, отказаться от всех его приятных новшеств и смертельных его ядов. Итак, попытаемся сосредоточиться на самой волне.

Свой путь мы проделаем вместе с философом и романтиком Генри Дэвидом Торо, «смотрителем ливней и снежных бурь», как окрестил себя он сам, или «бакалавром природы», как называл его глава трансценденталистского кружка философ Ральф Уолдо Эмерсон.

Весной 1845 г. Торо построил хижину на берегу Уолденского пруда близ города Конкорд (штат Массачусетс), в которой он провёл два года в наблюдении за природой и возделывании бобового поля, позволявшего ему содержать себя, и в которой был, в известной степени, независим от обычного ведения дел, принятого в современном ему американском обществе. Своё убежище «инспектор лесных троп» представлял как «дом, где есть всё необходимое для дома и ничего для домашнего хозяйства» [11, с. 283]. Уход в лес выпускника Гарвардского университета, литератора и ритора, подающего большие надежды, не обозначал, однако, бегства от реальных жизненных проблем и общественной деятельности. Наоборот, Торо, что называется, занимал активную жизненную позицию. Не однажды он обращался к согражданам и в некоторых случаях призывал к гражданскому неповиновению: открыто выступал против рабовладения, укрывал беглых рабов в своём родном городе и однажды был посажен в конкордскую тюрьму из-за отказа платить подушный налог. Аболиционисты характеризовали его как человека бесстрашной души, преданного только истине. Кроме того, Торо получил известность как превосходный натуралист и путешественник по неизведанным таёжным местам.

Г.Д. Торо считал себя свободным человеком, по крайней мере, он желал видеть себя свободным в свободной стране. «Пусть юноша строит, сажает или уходит в море, – ратовал он, – пусть только ему не мешают делать то, что ему хотелось бы. Вся наша мудрость заключена в математической точке, подобно тому, как моряк или беглый невольник отыскивают путь по Полярной звезде, но этого руководства нам достаточно на всю жизнь. Пускай мы не достигнем гавани в рассчитанное время, лишь бы не сбиться с верного курса» [11, с. 85]. Верным курсом Г.Д. Торо полагал духовное самосовершенствование человека.

Для чего же «бакалавр природы» поставил свой эксперимент? Ведь понятно, что даже если бы он практически доказал возможность жить, мыслить, реализовываться и при этом говорить о себе, что «самый большой мой талант, это – малые потребности» [11, с. 83], то не следовало ожидать, что американцы тут же последуют его примеру и променяют свой бизнес на идею духовного совершенствования. «Надо научиться просыпаться и бодрствовать, – писал Торо, – для этого нужны не искусственные средства, а постоянное ожидание рассвета, которое не должно покидать нас в самом

глубоком сне. Больше всего надежд в меня вселяет несомненная способность человека возвыситься благодаря сознательному усилию» [11, с. 107]. «В очень широком, но истинном значении, – отметил он в дневнике, – усилие и есть уже дело само по себе, и только когда вмешиваются обстоятельства практические, наше внимание перемещается с самого дела на вещи случайные. Люди славят не дело, но какой-нибудь кусок мрамора или холст, которые представляют собой лишь площадку для настоящей работы» [10, с. 139].

Торо на собственном опыте показал, что всякий человек при соответствующем осмыслиении жизненного пути *способен* благодаря сознательному усилию возвыситься над окружающим его псевдонатуральным порядком вещей, сосредоточиться на деле, на самой «волне», несущей его по пространству содержания мыслей и действия, и тем самым открыть в себе возможность самообновления. Избавляясь от идолов, «паразитов сознания», подделок под жизнь, Торо обнаруживает, «выпячивает» способность мыслить, которую человек, по Хайдеггеру, оставляет невозделанной, под паром. Тем самым он подтверждает, что человек мышлению пред назначен и уготован:

«Я ушёл в лес потому, – объясняет он, – что хотел жить разумно, иметь дело лишь с важнейшими фактами жизни и попробовать чему-то от неё научиться, чтобы не оказалось перед смертью, что я вовсе не жил. Я не хотел жить подделками вместо жизни – она слишком драгоценна для этого; не хотел я и самоотречения, если в нём не будет крайней необходимости. Я хотел погрузиться в самую суть жизни и добраться до её сердцевины, хотел жить со спартанской простотой, изгнав из жизни всё, что не является настоящей жизнью, сделать в ней широкий прокос, чисто снять с неё стружку, загнать жизнь в угол и свести её к простейшим формам, и если она окажется ничтожной, – ну что ж, тогда постичь всё её ничтожество и возвестить о том миру; а если она окажется исполненной высокого смысла, то познать это на собственном опыте и правдиво рассказать об этом в следующем моём сочинении» [11, с. 107].

Описание своего опыта Генри Дэвид Торо изложил в художественном произведении «Уолден, или Жизнь в лесу», которое в начале XX в. было признано образцом американской словесности, а, значит, и сам Генри Дэвид Торо стал источником новых « волн», куматоидов. Ж.-П. Сартр величал таких людей не иначе как законодателями: «Экзистенциалист охотно заявит, что человек – это тревога. А это означает, что человек, который на что-то решается и сознаёт, что выбирает не только своё собственное бытие, но что он ещё и законодатель, выбирающий одновременно с собой и всё человечество» [7, с. 325]. Это и есть результат обновления – рефлексивным образом включаясь и преобразуя опыт предков, опыт сотен поколений людей других стран и эпох, Торо задаёт новые культурообразцы для современной цивилизации. Образцом для подражания стал не только его стиль или образ мышления, но и способ жизни, отношение к повседневности. Эксперимент, предпринятый Торо в середине XIX в., может послужить одной из ярких иллюстраций того, что позже М. Хайдеггер онтологизирует как отрешённость от вещей.

Одной из эстафет, подхваченных Торо, как мы уже в этом убедились, была эстафета понимания текста, понимания смысла книг, написанных за десятки веков до него, но не утративших своего значения в силу закона тождества, закона однозначного умозрения-уяснения смысла.

«Творения великих поэтов ещё не прочитаны человечеством – ибо читать их умеют лишь великие поэты, – замечает он. – А массы читают их так же, как они читают по звёздам – в лучшем случае, как астрологи, но не астрономы. Большинство людей научаются читать лишь для удобства, как учатся считать ради записи расходов и чтобы их не обсчитали. Но о чтении как благородном духовном упражнении они почти не

имеют понятия, а между тем только это и есть чтение в высоком смысле слова, – не то, что сладко баюкает нас, усыпля высокие чувства, а то, к чему приходится тянуться на цыпочках, чему мы посвящаем лучшие часы бодрствования» [11, с. 125].

Другая эстафета, которую Торо принял непосредственно следуя образцу Р.У. Эмерсона, – в его отношении к природе как началу начал. Эмерсон полагал, что «всё, обозначаемое… как «не-я», иными словами, как природа, так и искусство, все прочие люди и собственное моё тело должны быть объединены под именем природы» [14, с. 24]. Природа таким образом превращается в мифическое существо, «старую даму»<sup>4</sup>, праматерь-землю, из которой человек черпает силы для собственного существования.

Торо рассуждает об этом следующим образом: «Земля – вся живая и сплошь покрыта чувствительными сосочками» [11, с. 349]; «...у Природы есть утроба, и, значит, она действительно мать человечества»; «Земля – не осколок мёртвой истории, не пластины, слежавшиеся, как листы в книге, интересные для одних лишь геологов и антиквариев; это – живая поэзия, листы дерева, за которыми следуют цветы и плоды; это – не ископаемое, а живое существо; главная жизнь её сосредоточена в глубине, а животный и растительный мир лишь паразитируют на её поверхности» [11, с. 356–357]; и наконец: «Небеса находятся у нас под ногами, а не только над головой» [11, с. 329].

На берегу Уолденского пруда Торо ведёт жизнь простую и открытую для друзей и бессловесных соседей – енотов, мышей, муравьёв, куропаток, уток, белок, лисиц и всех других обитателей леса. «Я убеждён, – пишет он, – что единственным напитком мудреца должна быть вода, вино – куда менее благородная жидкость; а можно ведь утопить все утренние надежды в чашке кофе или вечерние – в стакане чая. Как низко я падаю, когда прельщаюсь ими! Опьянить может даже музыка. Эти, по-видимости пустяшные, причины погубили Грецию и Рим и погубят Англию и Америку. Если уж опьяниться, то лучше всего воздухом» [11, с. 254]. Торо возвращает нас к самим истокам отношения к природе – первобытным ощущениям, умению слушать и видеть происходящее вокруг, и в этом напряжённом внимании-соединении с сущим Торо не отделяет от него человека, но переживает, как душа переключает своё внимание с беспредельного внешнего мира на свои глубины: «Мне радостно было сознавать, что я обязан духовными озарениями такому низменному чувству, как вкус, что я мог вдохновляться через его посредство, что моя музя питалась ягодами, собранными на холме» [11, с. 255].

Такую же живую глубину мысли Торо приписывает и находит в природе. Несмотря на категориально развитое мышление американского романтика, его труд напоминает усилия первобытных земледельцев, в мифологическом трепете приносящих свои молитвы земле, озеру, Природе: «я заставлял жёлтую почву выражать свои летние думы бобовыми листьями и цветами, а не полынью, пыреем или бором; я требовал, чтобы земля сказала «бобы» вместо «травы», – это и был мой дневной труд» [11, с. 185]; «вот он Уолден, то самое лесное озеро, которое я открыл столько лет назад; вместо леса, срубленного прошлой зимой, на берегу его подрастает новый, столь же полный соков и сил, и та же мысль подымается со дна его на поверхность, что и тогда» [11, с. 227].

<sup>4</sup> «Живёт также по соседству старая дама, почти никому невидимая; я люблю иной раз побродить в её душистом саду, собирая лекарственные травы и слушая её сказки, потому что она знает их бесконечное множество и помнит времена более древние, чем времена мифов, она может рассказать, откуда каждая легенда берёт начало, – ведь всё это происходило в дни её юности. Это бодрая и румяная старушка, весёлая во всякую пору и в любую погоду; она, пожалуй, переживёт всех своих деток» [11, с. 163].

Но в отличие от общинного человека, который удовольствовался бы только этой эстафетой, только таким пониманием окружающего его внешнего мира, философ и натуралист Генри Дэвид Торо рефлексирует своё незнание природы, а следом и принадлежность к другому – общечеловеческому, культурному – целому: «Я вижу, что мы, жители Новой Англии, живём столь жалкой жизнью потому, что взор наш не проникает глубже поверхности вещей. *Кажущееся* мы считаем за *существующее*» [11, с. 115]; «Дело в том, что воображение, если дать ему хоть малейшую волю, ныряет глубже и взлетает выше границ Природы. Глубина океана, вероятно, окажется очень незначительной в сравнении с его площадью» [11, с. 334].

Торо метафорически указывает на то, что следует иным – не натуралистическим – законам. Спустя несколько лет после Уолденского периода жизни писатель записывает в дневнике: «В чём же заключалась ценность леса для меня – его соков, его плодов, – как не в этой линии, где силует его выделяется ярким рельефом на фоне неба? Вот что было моим участком леса, моей участью в лесу. Серебристые иглы сосен, через которые просачивается свет» [10, с. 201]. Метафора света, используемая им, предписывает человеку высшее – надприродное, *метафизическое* – предназначение. Поэтому неслучайно на вопрос анкеты американского общества по распространению естественнонаучных знаний о том, какая наука интересует его в большей степени, Торо считал нужным сразу сказать, что он трансценденталист, что его занимает та область науки, предметом которой является высший закон. Человека, который осмеливается жить, Торо ставит выше всех земных и небесных законов. Мы можем сказать, что мир смыслов-событий будто вычерчивает ландшафт его ума, а реализация на нём какой-нибудь мысли, помысленной до него или здесь, рядом с ним, заключает в себе контур целой исторической эпохи:

«Когда я гуляю по лесу, над ландшафтом моего ума, может статься, промелькнёт тень от крыльев какой-то мысли, и я понимаю, как мало событий в нашей жизни. Что значат все эти войны и слухи о войнах, современные открытия и так называемые улучшения? Просто раздражение на коже. Но эта тень, которая так быстро исчезает и чью суть так трудно уловить, наводит на мысль о том, что есть важные события, промежутки между которыми – для нас настоящая историческая эпоха» [10, с. 148].

Эта эстафета – эстафета отношения к человеку, прежде всего к самому себе, как к жизни, обладающей высшим предназначением, чем общественное переустройство и частное благополучие, жизни, которая продолжается, *длится* в терминологии А. Бергсона, и на небесах, которые «у нас под ногами», – в XX в., веке не расследованных убийств, была подхвачена другим классиком американской литературы Г. Миллером. В 1955 г. в этюде об Артуре Рембо, названном им «Время убийц», задавшись вопросом: «Думаем ли мы о Красоте, какой бы «горькой» она ни была, или мы думаем об атомной энергии? И какое же чувство внушают нам теперь наши великие открытия?», – он был резок в оценке настоящего:

«Только ужас! У нас есть знания, но нет мудрости, есть комфорт, но нет безопасности, есть вероучения, но нет веры. Поэзия жизни выражается теперь только в математических, физических, химических формулах. Поэт – это пария, аномалия. Он вот-вот вымрет. Кого теперь волнует, насколько *чудовищным* он становится? Чудовище бродит на свободе, скитаются по миру. Оно удрало из лаборатории; оно готово к услугам любого, кто решится его использовать. Миром правят цифры. Нравственный между добром и злом – да и всякий иной – более не существуют. Теперь всё отдано на волю волн и случая; началось плавание без руля и ветрил.

А дураки рассуждают себе о reparациях, расследованиях, возмездии, о размещениях и коалициях, о свободной торговле, экономической стабильности и

реконструкции. В глубине души никто не верит, что положение в мире можно исправить. Все живут в ожидании великого события, того единственного, что занимает наши мысли днём и ночью: новая война. Мы всё нарушили; никто не знает, где и как найти рычаги управления. Тормоза ещё на месте, но сработают ли они? Мы знаем, что не сработают. Нет, дьявол уже вырвался на волю. Век электричества позади, не ближе, чем Каменный век. Наше время – это Век Силы, силы простой и грубой. Теперь – либо рай, либо ад, середины больше не будет. И, по всем признакам, мы выберем ад. Когда поэт живёт в аду, обыкновенному человеку его тоже не миновать» [3, с. 156–157].

Г.Д. Торо жил на берегу Уолденского пруда. Рефлексия, как мы уже отмечали (см. [9, с. 38–45]), требует духовного усилия, и необходимое условие её возникновения – прохождение половины пути по дуге, умение *здесь и сейчас*, в этом месте и в это мгновение, у себя «под боком», в самом себе, обнаружить колодец страдания. Но рефлексия не смогла бы привести нашего романика или любого другого «бакалавра природы» к каким-либо значимым результатам, если бы не «подпитывалась» более широким, чем у общинного человека, полем образцов деятельности и поведения, всей совокупностью социальных эстафет, предлагаемых ему человеческой историей. «Если я двигаюсь по большой дуге, зачем скимать её до меньшего размера?» [10, с. 163] – спрашивает Торо, когда ему исполнилось тридцать четыре года, а его жизнь, как полагает он сам, далеко не достигла расцвета. Поэтому ещё одной эстафетой, необходимой для того, чтобы резюмировать Уолденское затворничество Торо, является одиночество, или умение оставаться наедине с самим собой, которое, подобно производственным отношениям, формировалось на протяжении многих лет развития европейской цивилизаций.

«Мы не целиком связаны с Природой, – признаёт Торо. – Я могу быть бревном, плывущим по течению, но могу быть и Индрой, созерцающим его с небес» [11, с. 160]. Чересчур доступному людскому обществу Торо предпочитает одиночество: общество утомляет и отвлекает его от серьёзных размышлений. Он предпочитает оставаться один. «Ни с кем так не приятно общаться, как с одиночеством, – считает он. – Мы часто бываем более одиноки среди людей, чем в тиши своих комнат. Когда человек думает или работает, он всегда наедине с собой, где бы он ни находился. Одиночество не измеряется милями, которые отделяют человека от его близких. Истинно прилежный студент так же одинок в шумном улье Кембридж-колледжа, как деревушке в пустыне» [11, с. 166–167].

Умение оставаться одному наедине со своими мыслями – следствие достижения человеком определённого культурного и духовного уровня. В качестве примера подобного воспитания чувств американский романтик описывает фермера, который целый день проработал в поле или в лесу один, но не почувствовал одиночества, потому что нашёл чем занять себя, «а вернувшись вечером домой, он не может оставаться наедине со своими мыслями, и ему хочется побывать «на людях», развлечься и вознаградить себя, как он считает, за дневное одиночество; вот почему он удивляется учёному, – противопоставляет Торо, – который способен просидеть один в доме всю ночь и большую часть дня, не боясь скуки и хандры; он не понимает, что учёный, запершись в доме, обрабатывает в это время *своё* поле или валит деревья в *своём* лесу, как фермер – в своём, а потом так же ищет развлечений и общества, как и тот, хотя, может быть, и в более концентрированной форме» [11, с. 167]. Видимо, поэтому для людей, которые не умеют оставаться наедине с самими собой, Торо не находит ничего лучшего, кроме пожелания-совета работать ещё больше: «Есть люди «трудолюбивые», – говорит он, – по-видимому, любящие труд ради него самого, а,

может быть, потому, что он не даёт им власть в худший соблазн, – этим мне сейчас нечего сказать. Тем, кто не знает, куда девать больший досуг, чем они имеют сейчас, я советую работать вдвое больше – пока они не выкупят себя на волю» [11, с. 84].

Жизнь Г.Д. Торо на берегу Уолденского пруда – это образец сознательной жизни, неотъемлемой «частью» которой был философский элемент, рефлексия. Торо старательно избегает жизни в мире имитаций и, замыкаясь, казалось бы, на своём личном, индивидуальном бытии, «выходит из себя» на бытие универсальное, общечеловеческое. Рефлексивно суммируя содержание этих и других, не описанных нами эстафет (к примеру, эстафет природоведения и наблюдения), «волн жизни», Торо сумел сосредоточиться и выявить саму волну, со-бытие – закон радостного и плодотворного усилия. «Мышление, – указывает Торо, – помогает нам «выйти из себя», но не в обычном смысле этих слов. Сознательным умственным усилием мы можем отстраниться от действий и их последствий, и тогда всё, хорошее и плохое, пойдёт мимо нас, как поток» [11, с. 160]. Повторим его мысль: «В очень широком, но истинном значении усилие есть уже дело само по себе» [10, с. 139]. Этот закон позднее как единственно возможный в литературе сформулирует Николай Степанович Гумилёв в эссе о Теофиле Готье:

«Он последний верил, – резюмировал Н.С. Гумилёв, – что литература есть целый мир, управляемый законами, равноценными законам жизни, и он чувствовал себя гражданином этого мира. Он не подразделял его на высшие и низшие касты, на враждебные друг другу течения. Он уверенной рукой отовсюду брал, что ему было надо, и всё становилось чистым золотом в этой руке. <...> В литературе нет других законов, кроме закона радостного и плодотворного усилия...» [2, с. 232].

Закон радостного и плодотворного усилия отличает произведение искусства от подделки, жизнь от имитации жизни, ибо только в подлинном произведении воплощается вся индивидуальность творца, весь талант создателя. И мы следом за ним вступаем в область, где в некоторой паузе, молчании открываем завесу над миром смыслов-событий и в свою очередь переживаем написанное (звучавшее или призывающее к себе наши взоры) вместе со всем его невыговоренным и сокровенно потаённым.

«Хорошая книга, – полагает Торо, – тот смысл, который извлекает звук из наших молчаливых лир. Во всех эпических сказаниях, которые мы читаем, затаив дыхание, есть важные слова: «Он сказал». Когда мы доходим до них, то понимаем: именно они обращены к нашему сокровенному «я». Часто бывает так, что мы переносим интерес к продолжению нашего собственного ненаписанного труда на написанную и сравнительно безжизненную страницу. Это продолжение составляет неотъемлемую часть всех ценных книг. Цель автора – сказать раз, но выразительно: «Он сказал». Это большее, чего может достичь создатель книги. Хорошо, если ему удастся сделать том своих произведений тем стержнем, о который разбиваются волны молчания. Нас волнует не столько производимый звук, сколько та пауза, когда, по словам Грея, «порыв собирается с силами», пауза, которая бесконечно величественнее, чем докучливое завывание бури» [10, с. 124].

Духовное усилие приводит к чудодейственному пробуждению, исполняет чувствами душу человека, обновляет его самого и строй его мысли и, несмотря на какую бы то ни было маргинальность, делает общезначимым образ его жизни. Это усилие требует всего человека, всех его физических и духовных возможностей, но центром, точкой его опоры становится душа человека, что и отмечал Г.Д. Торо: «По правилу двух диаметров мы не только находим солнце в нашей планетной системе и сердце в человеческом теле; проведите линии наибольшей длины и наибольшей

ширины через всю массу повседневных дел человека и через волны жизни, захватив также его бухты и фиорды, и на месте их пересечения вы найдёте вершину или глубину его души» [11, с. 337].

Для Торо глубина, средоточие человеческой души – это точка пересечения наиболее выдающихся дел человека (по всей видимости, линия наибольшей ширины) и волн жизни (линия наибольшей длины), захватывая также «бухты и фиорды», о которые эти волны разбиваются. По словам Торо, Природа близка человеку, она – праматерь, но в то же время она остаётся не более, чем «старой дамой» по соседству. Самое близкое человеку, по мнению Торо, – это великие законы, заданные ему отнюдь не матушкой-Природой, но «влиянием незримых сил Неба и Земли». «А мы большей частью придаём значение только внешним и преходящим обстоятельствам, – констатирует Торо. – Вот в чём причина нашей растерянности. Ближе всего ко всему существу находится та сила, которая его созидает. *Ближе всего* к нам постоянно свершаются самые великие законы. *Ближе всего* к нам стоит не работник, которого мы наняли и с которым так любим беседовать, а тот работник, который создал нас самих» [11, с. 159].

Конечно же, Г.Д. Торо не говорит о социальной обусловленности человека и странно было бы услышать из его уст о социальных куматоидах. Тем не менее «волны жизни», потоки смыслов, которые у Торо определяют глубину человеческой души, – это свидетельство рефлексивной позиции американского философа в разговоре о человеческой реальности, месте и роли субъекта в обществе. Человек берётся им как самый центр, средоточие мира, остров посреди «волн жизни». Быть центром подлинной жизни нелегко, нужно постоянно отстаивать своё положение. И это требует от человека отрешённости от повседневных дел, которыми заняты люди вокруг, «держания» мира вещей на почтительном расстоянии от своего – быть может, даже «бобового» – поля, где развёртывается его собственная мыслительная и вещественная деятельность.

В абстракции высших сил и законов, в абстракции Ближайшего, Торо «сворачивает», втайне от всех и самого себя в том числе прячет свою человеческую со-бытийность, свою принадлежность процессу *передачи* форм деятельности и поведения другим людям (см. [6, с. 92]). Мы же видим, что «работник, который создал нас самих», действительно, всегда рядом с нами. Более того, он в нас самих, он определяет и «вылепливает» нашу чувственность и ментальность, когда предлагает нам всё пространство мыследеятельности, культурообразцов, в котором только и жив человек. Иными словами, общество воспроизводит само себя в потоке смыслов, в социальных куматоидах, «волнах жизни», волнах воссозидающего усилия, которые и есть со-бытия, и зачастую на уровне индивидуального человеческого существа абстрагирует свою культуру в образе, или интуиции, Бога (силы, противостоящей нашей глупости) и неисчислимых небесных сил, своим присутствием охраняющих человека. Веком позже мысль о том, что *ближе всего* человеку, М. Хайдеггер сформулировал следующим образом: «...на самом деле Ближайшее из Близкого непосредственно призывает нас к тому, чего мы уже придерживаемся, к тому, что мы хотели выразить словом Со-бытие. Ибо что может быть нам ближе, чем то, что сближает нас в том, чему мы принадлежим, ближе, чем Со-бытие?» [13, с. 77].

Между тем люди газеты предпочитают заниматься калькуляцией псевдонатурального внешнего мира вещей и не заглядывать в ту страну, где свои джунгли, пустыни и озёра раскрывает мир смыслов-событий, «святая реальность», мир сознания. «Что означает Африка – и что означает Запад? – задолго до К. Уилсона и О. Хаксли сумел разглядеть Г.Д. Торо. – Разве в глубь нашей собственной души не тянутся земли, обозначенные на карте белыми пятнами, хотя, если исследовать их, они могут

оказаться чёрными, как и побережье?» [11, с. 370]. «Пусть себе странствуют, изучая Австралию, – говорит Торо о путешественниках; – Они увидят мир, зато я узрю бога» [11, с. 371].

Калькуляция мешает человеку стать открытым для тайны. В мире внешнем она заставляет его видеть вещи сугубо практические и не замечать того, что может обратить его взор к точке на местности, за которой кроется колодец страдания, сочувствия, со-переживания, со-причастности тайне, со-бытия. Мы опять вынуждены вспомнить об идолах рода, «паразитах сознания», с которыми «связана и другая привычка – нежелание замечать вокруг себя прекрасное, потому что внимание должно быть сосредоточено на вещах сугубо практических» [12, с. 84]. Это чувство опасности, исходящей из внешнего мира, оказывается, во многом порождено миром неспособного к саморазвитию, нерефлексивного, архаичного сознания: человек боится своей слабости, находится в постоянном ожидании новой войны с неведомым ему врагом. Между тем пример Г.Д. Торо, который памятаовал, что «Природа приспособлена к нашей слабости не менее, чем к нашей силе» [11, с. 15], а «судьба человека определяется тем, что он сам о себе думает» [11, с. 11], подчёркивает ценность рефлексии в самоутверждении свободно мыслящего человека, духовного бодрствования личности:

«Хорошо, когда он способен написать картину или изваять статую, т.е. создать несколько прекрасных вещей, – обращается к своим читателям Генри Дэвид Торо, – но куда благороднее задача быть, в моральном отношении, ваятелем и художником всей окружающей нас среды. Сделать прекраснее наш день – вот высшее из искусств! Долг каждого человека – сделать свою жизнь во всём, вплоть до мелочей, достойной тех стремлений, какие пробуждаются в нём в лучшие её часы» [11, с. 107].

Подведём итоги «жизни в лесу» романтика и поэта Г.Д. Торо и нашего восхождения по вехам его мыслительной деятельности и поведения. Прежде всего, важен сам путь: через обучение читать так, чтобы ощущать в себе голос другого человека, «дальнего собеседника», через занятие делом, сосредоточение на самой «волне жизни», эстафете философствования, а не на материале, который она несёт на своём гребне, а затем и через отрешённость от вещей, проникновение в колодец страдания, мир смыслов-событий, «святую реальность», мы становимся открыты для тайны. Именно такое *поведение*, благодаря которому человек открывается для смысла, потаённого в мире вещей. М. Хайдеггер называл открытостью для тайны, и именно такой образ жизни и вёл Г.Д. Торо, имея дело со своим сознанием подобно тому, как садовник хозяйствует в саду, чтобы тот не утратил своей роскоши. «Я говорю о «своём сознании», как мог бы говорить о «своём саде», – сравнивал К. Уилсон. – Но в каком смысле мой сад – действительно «мой»? Он полон червей и насекомых, которые не спрашивают у меня разрешения на то, чтобы там поселиться. Он будет существовать и после того, как я умру...» [12, с. 54]. В своём метафизическом пути Г.Д. Торо старательно изводит «паразитов сознания», как неких червей, насекомых или пресмыкающихся, мешающих ему возделывать свой сад:

«Змея, живущая у меня внутри, поднимает голову при звуке текущей воды. Когда же это я проглотил её? Наконец я избавился от змеи, жившей у меня внутри с тех пор, как я однажды выпил застойной воды. Я схватил её за горло и вытащил, после чего прекрасно провёл день. Разве нельзя избавиться от змеи, которую вы проглотили в юности, когда бездумно нагнулись и выпили стоячей воды? С тех пор она мешает вам и во сне и наяву; она завладела жизнью, которая некогда принадлежала вам. Неужели она не высунет голову при звуке текущей воды? Смело хватайте её за горло и тяните, хоть вам и будет казаться, что хвост её скрутил ваши жизненно важные органы» [11, с. 169].

Тайна, о которой мы догадываемся, вступая в мир смыслов-событий, занимаясь философией или наукой, захватывает невыговоренным содержанием эстафет философствования, можно сказать, интригует возможностью обретения новых, прежде неведомых нам пониманий. Вспомним высказывание А.В. Ахутина о М.К. Мамардашвили как о философе, который думал не терминами и не понятиями, а пониманиями. Тайна понимания людьми друг друга состоит в гармонии, не слышной уху, но именно из неё берёт начало цивилизация: «Обычно сотрудничество между людьми бывает лишь частичным и крайне поверхностным, а то подлинное сотрудничество, которое изредка встречается, никому не заметно, ибо эта гармония не слышна людскому уху» [11, с. 86], ибо это тайна общечеловеческих ценностей, тайна содержания (со-держания) социальных куматоидов – со-бытия *здесь и сейчас* множественности смыслов современной эпохи.

«Да, вечность заключает в себе высокую истину, – подытоживал американский философ. – Но время, место и случай, всё это – сейчас и здесь. Само божество выражает себя в настоящем мгновении, и во всей бесконечности времён не может быть божественнее. Мы способны постигнуть божественное и высокое только если постоянно проникаемся окружающей нас реальностью. Вселенная всегда послушно соответствует нашим замыслам. Движемся ли мы быстро или медленно, путь для нас проложен. Посвятим же себя замыслам. Не было ещё прекрасного и высокого замысла поэта или художника, чтобы его не осуществил кто-нибудь из потомков» [11, с. 115].

Торо обращает наше внимание на момент, называемый нами *здесь и сейчас*, желает, чтобы мы действительно постигли божественное: «Даже одна крупица знания, одно мгновение жизни сейчас, здесь, жизни, дарованной нам, равны акрам надежды, расплющенной так, чтобы ею можно было позолотить будущее» [10, с. 184]. Но получить крупицу знания, постигнуть божественное, по словам Торо, обозначает проникнуться окружающей нас реальностью. Сделать же это мы можем только посредством проникновения в самих себя. Таким образом мы поворачиваемся лицом к фактам, событиям, а не к вещам. Торо призывает нас решительно оглянуться на самих себя, иметь смелость остаться наедине с самими собой: «Встань лицом к факту и ты увидишь, что солнце играет на обеих его гранях, точно на лезвие острого меча, ты почувствуешь, как он пройдёт через твоё сердце и рассечёт костный мозг; и ты счастливо завершишь своё земное существование. Будь то жизнь или смерть – мы жаждем истины. Если мы умираем, пусть нам будет слышен наш предсмертный хрип, пусть мы ощутим смертный холод; если живём, давайте займёмся делом» [11, с. 117].

Заняться делом для Торо – это жить разумно, а не по недомыслию, использовать важнейшие факты, подлинные образцы, а не подделки, испробовать костный мозг сущего, истинную реальность, а не видимость, которая окружает сердцевину. На его опыте мы убеждаемся, что реальность социальных эстафет философствования, или «святая реальность» Поля Клоделя, в которой читатель такой же творец, как и сам автор, вырастывает, освобождает из тисков вещного мира творческие способности человека. Сила, или, как сказал бы Поль Клодель, божественная воля, её смыслов-замыслов-событий – в силе потомков. Именно с проникновения в её скрытый, но всегда посылающий нам целокупную совокупность сигналов («Вселенная всегда послушно соответствует нашим замыслам!») мир начинается любое категориальное построение.

О человеке, вступающем в дом поэта, писал М.А. Волошин:

«Весь трепет жизни всех веков и рас,  
Живёт в тебе. Всегда. Тенерь. Сейчас».

Духовное бодрствование приводит к этому порогу и позволяет переступить его. Это умное место, математическая точка, которую нам наметила культура и к которой следует стремиться на протяжении всего пути. Только тогда в поле уже сложившихся культурообразцов человек сможет принести плоды на века, и только так – через воспроизведение старого – воссоздать новое. «Если отрешённость от вещей и открытость для тайны пробудятся в нас, – говорил М. Хайдеггер, – то мы выйдем в путь, который ведёт нас к новой почве для коренения и стояния. На этой почве творчество может пустить новые корни и принести плоды на века» [13, с. 110].

Стоит ли бояться ступить на этот путь, пуститься в метафизическое путешествие, стать путником по вселенным? Ныне не менее актуально, чем в середине века XIX-го, звучит призыв Г.Д. Торо: «Нет, станьте Колумбами целых новых континентов и миров внутри себя, открывайте новые пути – не для торговли, а для мысли. Каждый из нас владеет страной, рядом с которой земные владения русского царя кажутся карликовым государством, бугорком, оставленным льдами» [11, с. 371].

### Литература

1. Бэкон Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 2. – М.: Мысль, 1978.
2. Гумилёв Н.С. Письма о русской поэзии. – М.: Современник, 1990.
3. Миллер Г. Время убийц // Иностранная литература. – 1992. – № 10.
4. Рембо А. Произведения. – М.: Радуга, 1988.
5. Розов М.А. Теория социальных эстафет и проблемы знания // Теория социальных эстафет: история – идеи – перспективы. – Новосибирск, 1997.
6. Розова С.С., Соловьёв О.Б. Естественный объект в научном исследовании. – Новосибирск, 2000.
7. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М.: Изд-во политической литературы, 1989.
8. Соловьёв О.Б. Дух века, или право на выбор в современной России // Научные записки НГАЭиУ. – 2001. – Вып. 4.
9. Соловьёв О.Б. Реальная философия и современность // Проблема способа бытия объектов исследования в гуманитарных и естественных науках. – Новосибирск, 2001.
10. Торо Г.Д. Дневники // «Сделать прекрасным наш день...» – М.: Прогресс, 1990.
11. Торо Г.Д. Уолден, или Жизнь в лесу. – М.: Наука, 1979.
12. Уилсон К. Паразиты сознания. – Киев: София, 1994.
13. Хайдеггер М. Разговор на просёлочной дороге. – М.: Высшая школа, 1991.
14. Эмерсон Р.У. Эссе. – М., 1986.
15. Wilson C. Beyond the outsider (a philosophy of the future). – Pan Books Ltd: London, 1965.